

*Евгений Каминский*

## Отпалка

*Повесть*

Едва застрекотало над сопками (правда, глагол этот ни в коей мере не отражал ужас, творящийся в небе: что-то большое и железное с треском рвало воздух в клочья, грозя рухнуть в образовавшуюся дыру), Бызов направился к поселковой площади — небольшому участку тундры, распаханному «Катерпиллерами» до коренного плитняка. Здесь проходчики и буровики, спотыкаясь и хрипло матерясь, играли по воскресеньям в футбол, а в остальное время вольный ветер гонял туда-сюда тучи звенящего гнуса.

Вертушка натужно снижалась, выискивая место понадежней.

С каждым вертолетом в поселок помимо муки, консервов, завербованных на материке рабочих или прокурорских работников (что делать, и здесь, на краю земли, советские люди калечили друг друга по недосмотру или убивали по пьянке), сдержанно покашливающих в кулаки кабинетной пылью, с бумажными папками под мышками, на которых написано «Дело», доставляли почту.

И каждый раз, когда небо разрывали лопасти вертолета, Бызов спешил на площадь, надеясь получить письмецо от невесты. По крайней мере, считать таковой однокурсницу Катю, с которой у Бызова уже два семестра как развивался роман, тут, за тысячи километров, было утешительно. Полноценными письмами Катины послания нельзя было назвать: так, несколько необязательных вопросов к нему, несколько игривых ответов на его «проклятые» вопросы («Так было у тебя с ним или нет?») да незамысловатое описание собственной жизни — мол, живу без тебя монахиней в келье. Одна кукую... А ты поди проверь! И ни слова о любви. Верней, все слова о любви, но не о той, полновесной, кипящей в крови и ноющей в сердце, в которой нуждался Бызов, а какой-то картонной, не имеющей вкуса и запаха. Однако и эти тощие конверты с картонными чувствами от Кати были необходимы Бызову, чтобы хотя бы в грёзах оказаться там, на большой земле, или, как говорили здешние аборигены, на материке. Говорили, несмотря на то, что обитали не на затерянном в океане острове, а на северной оконечности Евразии. Эти люди считали себя до зарезу необходимыми стране героями-геологоразведчиками, обеспечивающими ее золотым запасом и престижем. Когда они говорили об этом, лица у всех становились значительными, как

---

*Каминский Евгений Юрьевич* — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 году. Автор 10 поэтических сборников и нескольких книг прозы. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 7.

у руководителей страны, а в глазах заводился романтический сквознячок, как у космонавтов перед стартом. Будто и впрямь они отказались от самих себя ради блага родины и, лишенные элементарных человеческих благ, обитают в безвоздушном пространстве. Отчасти эти настроения аборигенов были небезосновательны, поскольку «контингент» попадал сюда всегда минимум на три года и преимущественно по воздуху (на вертолете) или, на худой конец, с караваном «Уралов», груженных харчами, горючкой, буровыми трубами и запчастями к технике, сутки, двое, трое ползущих по рыхлым руслам мелководных чукотских рек.

Вертолетчики стремительно выбрасывали на плитняк мешки да баулы, ставили один на другой ящики с консервами, извлекали на свет божий укачанных до положения риз баб с поклажей, коих тут же принимали под белые руки мужа — буровики, проходчики, бульдозеристы, перво-наперво спрашивавшие: «Привезла?», имея в виду питьевой спирт. Бледные тетки, не в силах сопротивляться такому прямому вопросу (а ведь собирались поглумиться, заявить благоверным, что «о спирте-то у них вылетело из головы», так что пусть теперь *насосы прокляты* переживут небольшую клиническую смерть), вымученно кивали, и на лицах у них было написано: «Ой, сейчас умру»...

Надо сказать, прилетали сюда и улетали отсюда только по записке начальника экспедиции, дважды орденосца, члена бюро Магаданского обкома партии, маленького, можно сказать, миниатюрного, но при этом отчаянно напоминавшего уличного хулигана из рабочего поселка. Ходил член бюро обкома всегда насупившись и неизменно в лётной кожаной куртке. При разговоре с подчиненным (а тут все были его подчиненными) он вращал глазами так, словно собирался подчиненного если не ограбить, то, как минимум, ударить по лицу в наказание за что-то. Но за что?! Именно он еще в начале июня дважды не пропустил Бызова в вертолет, который должен был лететь в поселок. Бызов куковал уже несколько ночей на цементном полу Певекского аэровокзала и даже успел отравиться какой-то падалью в местном буфете. Не пустил, несмотря на то, что Бызов лез к нему со своим командировочным предписанием, выданным в Центральной лаборатории в Магадане, где было четко прописано место назначения. И только через неделю позволил-таки немытому, опустившемуся Бызову занять место среди поселковых баб, регулярно летающих из поселка в Певек к гинекологу. (И хотя знал член бюро обкома, сам каждую неделю мотавшийся по неотложным делам через Певек в Магадан и обратно, что летят бабы за спиртом для своих мужиков, против гинеколога был бессилён.) Да, позволил, но лишь прочитав переданную смущенным Бызовым записку, адресованную орденосцу товарищами из Магадана, которая начиналась так: «Дорогой Ильюша! Этот мальчик питерский...», и которую Бызову было стыдно предъявить Ильюше, поскольку Бызов считал подобную *блатную* записку излишней мерой в том благородном предприятии, в котором он подвизался участвовать на благо родины. К тому же — проявлением слабости (что я — баба на сносях и не могу потерпеть?), которую все же проявил, боясь, что если не проявит, то либо умрет от истощения, либо завшивит и забичует, так и не добравшись до места назначения. Правда, и слово «мальчик» в записке саднило Бызову душу, и он несколько раз порывался выбросить этот свернутый вчетверо тетрадный лист. И если бы не какие-то вопросы непосредственно к Ильюше автора этой блатной записки, непременно выбросил бы как опасную для себя улику.

Этот Ильюша, смотревший на Бызова, словно громовержец из туч, и говоривший с ним, как записной Бармалей (а как еще прикажете говорить с контингентом, который на пятьдесят, а то и на все сто процентов состоит из бывших уголовников, знающих цену и себе, и слову?!), имел весьма непривычную для этих мест и

занимаемой должности фамилию Розенблюм. Весьма странной ее, правда, посчитал хитроумный, как Одиссей, студент Ципкин — коллега Бызова, всегда глядевший на вещи чуть шире и уже почитывавший самиздат. Бызов же не видел в этой фамилии ничего странного, но будь его воля, он попросил бы Розенблюма отрастить подлинной бороду, чтобы предъявить бородатого Розенблюма хитроумному Ципкину: «Ну разве не Карабас Барабас?»

— А где почта? — возопил вдруг кто-то из толпящихся возле вертолета, и Бызов сделал стойку.

Обычно почту доставляли.

Но на этот раз забыли.

Это было неслыханно — оставить мешок с корреспонденцией на материке. А как же они, отказавшиеся от себя ради страны первопроходцы, золотодобытчики, герои, ждущие весточку с большой земли?!

— Да в воскресенье еще вертушка будет! — попытался примирить золотодобытчиков с действительностью вертолетчик. — Просим прощения, конечно. Очень торопились. Метеосводка, сами понимаете...

Дальше Бызову стало неинтересно. Сунув руки в карманы, он отправился в барак читать толстенный московский журнал с повестью о директоре провинциального завода, безответственно влюбившегося в московскую корреспондентку и тем самым всерьез покачнувшего *устои*. Им, этим вертолетчикам, которые сегодня здесь, а завтра там, у которых дома баба и пельмени *когда захочешь*, оказывается, ничего не стоило забыть почту для них, лишенных здесь и собственных баб, и домашних пельменей.

Это было больно, но не смертельно. Бызов это уже проходил. Теперь требовалось побыстрее выбросить Катю из головы. Напрочь! Ну или на несколько дней. В общем, перетерпеть, перемучиться. Он шел и чувствовал себя осужденным на казнь, которому следует перестать надеяться на чудо, чтобы освободившимся от всего тут без сожаления вдруг оказаться *там*...

Перед Бызовым маячила женщина (судя по крепкой, тонкой фигуре, молодая) в белом, бьющемся на порывистом ветру и то и дело залипающем на спине и бедрах платье, тащившая огромный чемодан и ребенка. В одной руке чемодан, который она то и дело ставила на плитняк, чтобы перевести дыхание, в другой — ладонь мальчугана лет четырех. Мальчуган упирался. Потрясенный местным ландшафтом, с открытым ртом он озирался на высящиеся тут и там сопки, которые август уже задрапировал разноцветным — от охристого до красно-бордового — велюром. Этого мальчугана словно без предупреждения высадили на Луне, и теперь он хлопал широко расставленными глазами, силясь вместить увиденное.

Не испрашивая разрешения, Бызов мягко, но настойчиво отобрал ручку чемодана у женщины и сразу понял, что в чемодане, помимо одежды, лежат пудовые гири, чтобы придавливать ими грибы в кадках.

— Я донесу. Вам куда? — хрипловато (его жилы чуть не лопнули от напряжения) спросил он, глядя вперед.

Взглянув на Бызова испуганно (правда, это была самая первая, молниеносная ее реакция) и, видимо, рассудив, что ее не грабят (куда тут убежишь с награбленным?), она кротко улыбнулась (а ведь и здесь водятся рыцари!) и назвала адрес. И пошла рядом с Бызовым, не сводя с него взгляда. Ее сын, оторвавшись от созерцания лунного ландшафта, также воззрился на Бызова как на первого в своей жизни инопланетянина.

Мальчик был потрясен до бесчувствия. А может, и нет; дело-то происходило на Луне, и потому, если все вокруг удивительно, замучаешься удивляться.

Бызов чувствовал на себе оба этих взгляда. Но особенно неуютно ему было под неотрывным взглядом женщины. И, попытавшись изобразить на лице безразличие к невзгодам, которое, как он полагал, должно быть свойственно первопроходцам, он повернул к ней лицо, чтобы...

Боже, что это была за красавица. Черноволосая Шамаханская царица с огромными серыми глазами, тонкими изогнутыми бровями, широкими матовыми скулами, изящным носом с легкой горбинкой, чуть хищными, налитыми горячим соком губами и статью женщины, которую нельзя не полюбить, а полюбив, невозможно добиться. Потому что для такой красавицы непременно найдется улыбочивый заморский принц, ни в чем, кроме присутствия в своей жизни этой красавицы, не нуждающийся, поскольку его тетя — английская королева. Бызов тут же опустил глаза и неконтролируемо покраснел.

Царица расценила краску на его лице по-своему: нежно, но при этом порывисто взяла его за руку (ту самую, в которой был чемодан) и, стараясь заглянуть ему в глаза, которые он от нее сейчас изо всех сил прятал, взволнованно спросила:

— Мальчик, тебе тяжело, тебе плохо?

От этого невыносимого «мальчик» Бызов покраснел еще гуще — так, что пот выступил у него на кончике носа, а из глаз едва не потекли слезы. Он уже собирался одернуть красавицу, мол, никакой он не мальчик, ему уже двадцать один год, и он тут штатный геофизик. Но, решительно подняв глаза, он вновь увидел ее лицо — средоточие сострадания и нежности, на которые способна только женщина, готовая любить мужчину до гроба. Ну, или до первого серьезного скандала. Она чуть не плакала от жалости и умиления, глядя на Бызова, в свою очередь пыхтящего от смущения. Все это было так нелепо, что Бызов забекал, замекал о том, что у него высокая температура, и как только он донесет чемодан до пункта назначения, тут же отправится в постель. Эту информацию она приняла еще ближе к сердцу и стала умолять Бызова немедленно отдать чемодан, чтобы только бедненький мальчик не надорвался (а ей, что поделаешь, надрывать положено как матери, да и на роду написано как женщине).

При этом она отчаянно вырывала ручку чемодана из ладони Бызова, чему Бызов мужественно сопротивлялся, размышляя о том, почему эта необыкновенная женщина, недоступная никому из смертных, кроме заморского принца, ведет себя как вполне обыкновенная? Почему воспринимает такой естественный для мужчины поступок Бызова как манну небесную? Неужели считает себя недостойной мужского внимания?

А что если (пустился в праздные размышления мозг Бызова) она не знает о том, что красива? Что если ей никто об этом по злобе и зависти человеческой не сказал? Понятно, подружки в школе скорей удавятся, нежели сообщат подруге, что та — королева красоты. И она всегда у них будет во всем виновата. Даже когда будет искренне радоваться их успехам на любовном фронте. Даже когда кому-то из них, идущей вечером на свидание с юношей, отдаст свое белое платье... И главное, будет искренне считать себя виноватой, всегда и во всем, и обещать подругам исправиться, и сокрушенно просить у них прощения за чужие грехи... Но, похоже, и муж, или тот мужчина, от которого у нее мальчишка, тоже не сказал ей, что она неземной красоты женщина. Почему не сказал, почему не открыл ей глаза? А может, и сказал, да она не поверила. Лишь зажмурилась от счастья и исполнилась благодарности за такую к себе

непомерную доброту. И принялась еще сильнее, еще отчаянней, надрывая жилы и забывая о себе, заботиться о муже, семье, доме...

Что и говорить, время от времени такие женщины по милосердию Божьему попадают на грешную землю. А может, по чьему-то недосмотру падают с Луны. И счастье тогда всякому мужчине, оказавшемуся поблизости, хотя бы перекинуться с ней парой слов о погоде, хотя бы подать ей руку на подножке трамвая, хотя бы мельком взглянуть на ее лицо, чтобы наконец понять, как выглядит та любовь, которая *не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, которая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит...*

Но, оказавшись среди людей на земле, живет такая женщина недолго. Живет как белая ворона: клюют ее товарки нещадно, обводят вокруг пальца сантехники, электрики да продавцы, изводит бесконечными попреками муж, и хамоватый начальник лезет под юбку, чтобы, получив робкий отпор, начать сживать ее со свету.

Нет, не живет на земле долго подобная белая ворона. Поскольку гневный архангел, денно и ночью глядящий на нее сверху, больше не может всего этого терпеть. И тянет он за рукав своего Патрона, и просит Того взглянуть на беззаконие, которое люди творят с такой-то вот непорочной душой, с таким-то вот любящим сердцем, с этим ангелом во плоти, которого все они, все поголовно, недостойны. (Только сыночка жаль! Как он без мамы-то будет?) И смотрит Патрон с небес на род человеческий и, вздыхая, качает головой, мол, да, Гавриил, всё так, как говоришь...

И вот уже мечется в горячке наш ангел на холодной больничной койке, выгорает дотла. Еще немного и... И в самом конце, уже над обрывом, где вечность свистит под ногами, все же находит в себе силы сжать своею ладонью дрожащую ладонь безутешного мужа, уже осознавшего трагедию, и говорит с любовью, мол, ты не бойся, родной, мне не больно ни капельки. И тот плачет навзрыд, и всё просит не оставлять его. А гневный архангел из небес цедит сквозь зубы: «Ужо вам, ужо! Всех бы вас огнем попалил, если б не Патрон, всех до единого! Потому что не люди вы давно, не люди!»

И забирает ангела во плоти, и уносит его, нежно прижимая к груди, туда, где нет ни завистливых, вероломных товарок, ни вороватых сантехников, электриков, продавцов, ни глупых мужей, ни хамоватых начальников с потными руками, а есть одна только любовь.

О, если б подобную любовь сейчас явила Бызову восторженная старуха, которой только и осталось, что воспевать благородных рыцарей, не запятнавших себя бытовым женоненавистничеством! Он бы воспринял это как должное. Но перед ним была красавица примерно одного с ним возраста, посчитавшая его... мальчиком.

Но кто, кто виноват в том, что Бызов в свои годы выглядит, как взволнованный школьник?!

Доставив чемодан по адресу, Бызов бросился наутек. Потный, красный как рак. Нет, смотреть на шамаханскую царицу, которая, как бы вас ни боготворила, все равно всегда достается заморскому бездельнику, у него не было сил.

Бызов шел к себе и думал о местных женщинах, которые в последнее время все сильнее волновали его кровь. Тонкие, толстые, брюнетки, крашенные блондинки — все поголовно. В поселок вертолеты то и дело доставляли завербованных на материке «щучек» — по одной, две, а то по три сразу. «Щучки» — Лары, Тани, Алёны, Марины — как правило, разведенки не старше сорока лет (были, правда, и двадцатипятилетние), поджарые, хваткие, с крепкими зубами и разнузданным

смехом — по прилёте быстренько устраивались в бараках общежития и молниеносно оказывались кто в конторе Управления, кто в диспетчерской, а кто в продуктовой лавочке или в столовке. Оказывались и незамедлительно приступали к охоте. Благо нужная рыба в поселке не переводилась. Свободные, никому ничем не обязанные, ни с кем покуда не связанные обязательствами, шипучие, как шампанское, звонкие, как хрусталь, и яркие, как мишура, с еще не сошедшим с лиц материковым загаром, они, посверкивая серебристыми боками, грациозно стояли в тине какого-нибудь застолья и высматривали карасей пожирней. Мелкая рыбешка, вроде помбуров, проходчиков с восьмью классами за плечами или бульдозеристов из разреза, их не интересовала. Нужные (жирные, перспективные, с бумажниками, туго набитыми северными надбавками) караси уже в изрядном подпитии проплывали мимо, и щучка вполне могла проглотить одного такого с потрохами. Но она выжидала самого жирного, самого перспективного карася, даже если тот был при карасихе, имел дома выводок мальков и раз в три года улетал со всей ватагой на полгода в Гагры, чтобы прежде времени *не склеить ласты*. Нет, никакая местная карасиха не выдерживала сравнения с подобной щучкой, специально к этому мероприятию (в то время подобная массовая пьянка именовалась если не праздником, то *мероприятием*) влезшей в серебряную чешую, привезенную с материка в качестве охотничьего реквизита, высоко вздымавшей тяжелую грудь, лезущую при каждом вдохе из декольте, и смотревшую на зазевавшегося карася влажными глазами сироты. Глазами, в которых карась мог тут же и утонуть. Ведь там (в этих глазах) для него таилось все: и наслаждение, и утоление, и... Одним словом, альфа и омега грез первопроходца. Когда же щучка, улучив момент, оставалась с карасем наедине, вся такая сладкая и гладкая, то с легким стоном прикрывала глаза и приоткрывала рот. И карась, потеряв чувство опасности, не помня себя от вождения, сам плыл ей в зубы... Потом, конечно, с карасихой случалась истерика, и карасиха грозила карасю самоубийством или комиссией парткома, куда собиралась жаловаться на карася за такую подлую измену, и посеревший от переживаний карась нервно курил на кухне папиросу за папиросой, мучительно выбирая между своей неповоротливой карасихой и изящной щучкой, и все было в пользу щучки с серебряным боком и влажными глазами. Однако вокруг него сновали сопливые мальки, и карась все никак не мог решиться на уход.

Иной же карась решался и, стремительно собрав маленький чемодан с трусами и бритвой, уплывал от карасихи к щучке в общежитие, весь полный радужных надежд. И партком был ему не указ. Щучка же, осторожно положив свою зубастую голову на грудь переметнувшемуся карасю, загадочно посверкивая фосфором глаз, обещала ему небо в алмазах, а сама думала о том, не поторопилась ли и не прогадала ли с этим карасем, который вовсе не такой жирный, как ей поначалу показалось. Ведь тут, совсем рядом, в одном из отдельных кабинетов экспедиционного управления мутит воду о-го-го какой карась. Карасище! К тому же — без неповоротливой карасихи с мальками... А карась, тая как воск, уже говорил щучке, что не прочь завести с ней, такой тонкой штучкой, шурят, и полагал, что обрел наконец тихую заводь в эдемском саду, не понимая, что, как Иона, уже давно находится во чреве кита. То есть щуки. И лишь дело времени, когда это чрево его усвоит.

Несчастный карась! Да какие там шурята, если подобной щуке всегда всего мало, и она всё никак не может наесться досыта?!

Бывало и так: бросался карась с чемоданом от своей карасихи, наплевав на партком, к щучке, а у той уже отлеживается другой карась, не хуже этого, и без отягчающих обстоятельств, только-только вернувшийся с материка из отпуска,

встретивший эту шучку в коридоре Управления и разом потерявший самоконтроль. Весь такой крепкий, улыбчивый, еще не жеванный шукой, в общем целенький, стопроцентный.

И смотрели тогда караси друг на друга. Один с ненавистью, другой с презрением. И готовы были вцепиться друг в дружку, чтобы заполучить шучку с вываливающимися из серебристого декольте сладостями. Шучка же довольно шурилась, жмурилась да сладко потягивалась и предлагала попить с ней чайку обоим карасям, еще не понимающим, что им обоим — крышка. Потому что это шучка заполучила карасей. Обоих сразу, ешь не хочу...

На следующее утро мрачный Бызов с насвистывающим Ципкиным — студенты-дипломники из Ленинграда, оба в ватных костюмах, кирзовых сапогах, шапках-ушанках, навьюченные измерительной аппаратурой, — явились в диспетчерскую за аккумуляторными лампами.

Каски и лампы с аккумуляторами, лежавшие в номерных ячейках, выдавал диспетчер — широкоплечий, чернобрый, с щедрой улыбкой малоросса говорун лет тридцати. В обязанности диспетчера, помимо прочих, входила отправка вниз бригад проходчиков, постановка задач взрывникам, снабжение всевозможных комиссий схемами, картами и сопроводительными документами. Сколько ламп отсутствует, столько и людей в настоящий момент находится под землей. Это важно, когда в Геологическом отделе Управления наконец разобрались, куда направляется неуправляемое (поскольку никак на глазок его не проследить) «рудное тело», и значит, где, в каком месте, штольню надо *удлинить* или *углубить* с помощью «отпалки» — взрывов патронов аммонита, размещенных в специально пробуренных в стенках горной выработки шпурах. После взрывов, на время которых проходчики, геологи и все прочие убирались из штольни, поскольку ядовитый дым взорвавшегося аммонита мог любого угробить за минуту, через некоторое, необходимое для проветривания время под землей вновь появлялись проходчики с вагонетками. В вагонетки насыпали «отпаленную» породу и отталкивали их к уклону — трехкилометровому наклонному туннелю, ведущему на поверхность. Там вагонетки цеплялись к движущемуся стальному тросу, который и вывозил поставленные на рельсы вагонетки на свет Божий. Из этой «отпаленной» породы, которая собственно и являлась «рудным телом», отсыпали дорогу от этого поселка до еще одного тундрового, в котором базировались геологи, «бьющие» в тундре шурфы и канавы в надежде расширить границы месторождения. Кстати, спустя два десятилетия из этого *дорожного полотна* (этакой заначки на будущее) выплавили несколько тонн золота.

Выдавая Бызову с Ципкиным лампы, диспетчер даже не уточнил, в каких именно штреках они сегодня трудятся. Да и говорил он со студентами довольно раздраженно. И, похоже, потому раздраженно, что в диспетчерской в этот момент находилась какая-то шучка из недавно прибывших в поселок, строившая диспетчеру глазки. Тонкая, стервозная, наверняка способная и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, если только там еще трепыхается карась. Войти и вынести его оттуда на руках.

На Бызова с Ципкиным эта шучка, рассказывавшая диспетчеру что-то веселое из своей жизни, не обращала внимания, будто Бызов с Ципкиным были не мужики, а шахтерские лампы. Она явно нацелилась на улыбчивого диспетчера, предполагая еще до зимы завести у себя под боком карася.

Наконец диспетчер, взвинченный присутствием щучки до отчаянного блеска глаз, махнул Бызову с Ципкиным рукой, мол, идите уже, не до вас.

И те потащились к спуску в штольню.

Клеть для спуска и подъема была им не положена. Клетью пользовались только настоящие шахтеры — проходчики, взрывники да начальники. А «наука» и прочая шпана, вроде инженера гортехнадзора, должна была ножками-ножками спускаться под землю на глубину примерно триста метров. И потом подниматься...

Грохоча кирзовыми сапогами, каждое утро Бызов с Ципкиным спускались в царство вечной мерзлоты выполнять свою работу на стенках штреков и рассечек в течение шести часов, не более. Почему только шесть, если воздух энтузиазма, нагнетаемый газетными передовицами, заряжает тебя на десять, а то и на все двенадцать?! Да потому что работали Ципкин с Бызовым с радиоактивными источниками, а КЗОТ делал подобным «смертникам» определенные поблажки, включавшие, кроме укороченной рабочей смены, еще и молоко, и дополнительный отпуск, и радиологический диспансер, где рано или поздно всем ставили диагноз «лучевая болезнь». Люди, занимавшиеся на государственном уровне охраной труда, справедливо полагали, что долго «смертники» все равно не протянут, так пусть хоть побольше погуляют на свежем воздухе да попьют молока досыта.

После шести часов измерений во тьме и холоде Бызов с Ципкиным начинали восхождение; поднимались они тем же путем, что и спускались, но теперь уже в мыле, как добрые хозяйские кони. Тысяча пятисот ступеней-выступов в коренной породе, обшитых досками. И через каждые триста — площадка со скамьей, на которой можно перевести дух. Поначалу Бызов с Ципкиным его, конечно, переводили. Ведь каждый из них спускал в бездну и потом поднимал на поверхность по шестнадцать килограммов веса: блок аккумуляторов для прибора, датчик с радиоактивным источником, пульт, шахтерская лампа с батареей. Но в последнее время оба на подъеме не останавливались. Привыкли терпеть. Да и хотели друг другу доказать, что не знают устали.

Ципкин считал себя перспективным горнолыжником и упорно накачивал ноги, надеясь взять первенство Ленинградского университета. Бызов же не отставал от него, потому что планировал грядущей зимой наконец встать на горные лыжи (собственные новые были неподъемны для кошелька Бызова, но Ципкин обещал отдать свои старые) и научиться красиво, как Ципкин, выделять виражи по склонам гор...

Подобным образом они трудились здесь уже около трех месяцев, и свыклись и с постоянным холодом (минус восемь по Цельсию), и с крошечным мраком в рассечках (штреки все же худо-бедно освещались тусклыми фонарями), и с бесконечными записями в журнал показаний прыгающим в замерзших пальцах карандашом.

Это был настоящий труд. Черная, пусть и не ломовая в полной мере, но все ж с потом и хриплым дыханием работа. Хотя и считалась она прикладной наукой, ядерной геофизикой. Ядерной, потому что в процессе, как уже говорилось, использовались радиоактивные источники, о чем свидетельствовал специальный знак радиоактивной опасности на датчике прибора.

Во время смены Бызов с Ципкиным мужественно ничего не ели и не пили. Они даже не перекуривали (надо признаться, оба студента не курили). Просто «молотили» план. Монотонно, бессловесно, как скотина на пастбище, наедающая на свою голову живой вес. Ставили датчик на стену, смотрели на показания прибора и записывали их в журнал. Затем переставляли датчик на десять сантиметров в сторону в соответствии



с генеральной линией, намеченной местным геологом, и вновь смотрели и записывали. Тысяча и более записей за смену.

Мимо очередной рассечки, в которой студенты *молотили* план, то и дело проходили шахтеры. Увидев подозрительный луч во тьме, они в удивлении останавливались и светили на Бызова с Ципкиным: «Хто такие? Шпионы?» Иные, заинтересовавшись, входили в рассечку и выслушивали маленькую лекцию о рентгенометрическом элементном анализе вещества на стенках горной выработки. «Це добре!» — восклицали тогда шахтеры и шли по своим делам, раскатисто до многократного эха обмениваясь впечатлениями от общения с наукой.

После работы студенты строили графики показаний прибора и, как ни удивительно это было для местного геологического отдела, всегда «отбивали» границы рудного тела, которое невозможно было бы визуально определить ни одному Билибину, ни одному Цареградскому — здешним геологическим светилам недалекого прошлого, первый из которых сначала предсказал, потом открыл золотоносный Северо-Восточный регион, а второй, генерал, Герой социалистического труда, работал начальником Геологоразведывательного управления Дальстроя. Что и говорить, без Ципкина с Бызовым геологоразведочная экспедиция двигалась бы под землей вслепую.

Местного подземного геолога, который привык все потрогать, пощупать, понюхать и даже полизать (да, так определяют некоторые минералы), это умиляло до слез, и он, почесывая свою рыжую бороденку, восхищался: «Вот это настоящая наука! Физика! Математика! Не то, что мы — на глазок да на зубок...»

Одним словом, двое студентов уже третий месяц определяли направление разведочных работ под землей крупной геологической экспедиции, как бультерьеры, вцепившись в «рудное тело», коим являлась обычная коренная порода, правда, пропитанная мелкодисперсным золотом. Примерно два с половиной грамма золота на тонну вмещающей породы — таким было «бортовое содержание», меньше которого разработка золоторудного месторождения становилась нерентабельной. До Бызова с Ципкиным местным геологам приходилось скалывать породу со стенок через определенные промежутки, измельчать ее и отправлять на пробирный анализ в Магадан. А это большие деньги и месяцы ожидания результатов анализа.

А тут вдруг физика с математикой! И в итоге — миллионы сэкономленных советских рублей. В общем, Бызов с Ципкиным сами являлись для местных геологоразведчиков такими золотыми слитками, которые можно с гордостью показывать друг другу — ты когда-нибудь такое видел? Однако не более того. Руководство экспедиции считало физику с математикой обыкновенными наложницами, нужными известно для чего, и потому и близко не подпускало их в лице Бызова с Ципкиным ни к обсуждению планов и результатов разведки, ни к принятию маломальских решений, ни к сопутствующим всему этому предпочтениям в виде продуктовых наборов из Магадана к всевозможным всенародным праздникам. А это были и День молодёжи, и День комсомола, и День шахтёра, и День строителя, и День геолога и еще много архиважных для трудящихся дней. Не приглашали Бызова с Ципкиным и на пикники с шашлыком по-карски куда-нибудь в тундру.

А ведь они здесь досыта не ели.

С тех самых пор не ели, как люди из руководства Центральной лаборатории (лысый, веселый заведующий, всучивший по приезду Бызову журнал «Плейбой» на пару часов — *познакомиться* с образцом вражеской пропаганды, и не менее веселый заместитель заведующего, взявший этот журнал у ошарашенного Бызова после ознакомления себе под подушку), предложившие местным геологам свои передовые

разработки и в придачу — студентов-дипломников из Ленинграда, оставили последних в общежитском бараке, выдав им аванс, спустив им производственный план, отгрузив им ящик тушенки и ящик борщей, а под конец демократично распив с ними бутылку питьевого спирта. Руководство и сейчас своими телеграммами из Магадана торопило студентов, само же готовилось к победным сводкам о перевыполнении, считало экономический эффект от присутствия физической науки на месторождении и тайно крутило дырки в лацканах пиджаков под ордена. Это было щедрое на ордена для товарищей начальников время. К тому же речь шла о золоте для страны.

Тушенка у студентов закончилась мгновенно — у обоих отменный аппетит. Питание в столовой было скудным, невыразительным (слипшиеся макароны по-флотски, мясные шницели, изготовленные из панировочных сухарей), а порой и невыносимым. Жареные же грибы, собираемые на склонах сопок, быстро приелись и потеряли вкус. Да, можно было наминаться хлебом и пить чай с рафинадом. Ну, Бызов с Ципкиным так и поступали. Но чтоб, набив брюхо, мурлыкать нечто легкомысленное, удовлетворенно жмурясь на жизнь, не получалось.

Первым не выдержал Ципкин и пошел сдаваться на милость. Можно сказать, кинулся в кипящую, а кое-где искрящую вечернюю жизнь поселка. В роговых очках городского интеллигента, в отглаженном костюме (похоже, привез на Чукотку в рюкзаке именно для подобного кризиса), с букетиком бледных тундровых маков отправился в гости к одной щучке из столовки, накануне перекинувшейся с ним на обеде одной-тремя двусмысленностями и для убедительности подмигнувшей ему...

Теперь Ципкин частенько возвращался в их с Бызовым комнату под утро, тихий, до отказа набитый мясными котлетами, ласково поглаживающий живот и густо пахнувший домашним теплом и женщиной. Ципкин, конечно, понимал, что проглочен щучкой с потрохами, и не рыпался, надеясь в конце сезона улизнуть от нее если не на вертолете, то в кузове «Урала», затаившись между ящиками. Знал, что щучка, поджидавшая его у себя в тине каждый вечер, если и бросится на поиски, никак не успеет схватить его за хвост. Поэтому днем он измерял, что было положено измерять, вечерами отъедался у щучки котлетами из оленины, ночью платил за котлеты любовью и под утро уходил в барак. По воскресеньям же, освобожденный от всех этих повинностей, Ципкин собирал в геологических фондах материалы для своего диплома. И уже видел себя, кафедрального любимчика, в аспирантуре.

Бызов тоже собирал материалы, но ничего не видел, кроме домашних пельменей с маслом и сметаной, дымящихся в тарелке. Правда, когда закрывал глаза. Интеллигентный Ципкин не приносил голодному Бызову от щучки котлету в кармане. Никогда! Говорил, что ему неудобно приносить. И Бызов, сжав зубы, закрывал глаза, чтобы хотя бы увидеть вкусную еду.

В ту пору ему почему-то всегда хотелось есть, но есть почему-то всегда было нечего. Да, он честно давился украинскими консервированными борщами, от которых сводило живот, и ел жареные, пока было масло, грибы. В комнате всегда имелся хлеб, и даже связка сушек с маком висела на вбитом в стену гвозде. Но хотелось мяса. Или рыбы, которая просто обязана была водиться в местных озерцах. Но ни мяса, ни рыбы в поселке не наблюдалось. По крайней мере, на прилавке.

Однако проходчики и буровики вечерами весело орали песни, а потом дрались до крови под окнами общежития. Это дарило Бызову надежду, поскольку явно указывало на то, что провиант в поселке, пусть неофициально, имеется в достатке. И Бызов не отчаивался: а ну как и ему сверкнет удача и он однажды съест (проглотит!) тройную порцию пельменей со сметаной и сливочным маслом...

Было бы даже странно, если бы проходчики, буровики и бульдозеристы, живущие здесь круглый год, не приспособились к скудному на гастрономические изыски бытию, к такому вопиющему, бесчеловечному безрыбью. Нет-нет, все они уже давно притерлись кто к поселковым продовольственным складам, а кто к продуктовой лавочке с ее тайными закромами. А иначе как выжить?! Как выдавать по две нормы за смену?! Потому-то и стремились завербованные на материке женщины стать, скажем, если не кладовщицами, то непременно попасть в столовую, где им, кашеварившим в армейском вагоне с четырьмя обеденными столами и нагло выдававшим раскисший крахмал с колбасным фаршем то за макароны по-флотски, то за сибирские пельмени, не было отбоя от мужиков. И после работы, уже не следуя служебному долгу, а лишь по велению любящего сердца, за плотно закрытой дверью вагончика они, томно вздыхая, жарили своим вмиг образовавшимся поклонникам бифштексы с кровью.

И вот еще что. Здешние буровики, бульдозеристы и проходчики имели обыкновение на своих «Восходах» (а мотоцикл «Восход» тут водился у всякого порядочного работяги) с карабинами за плечами заезжать подальше в тундру и, если только знали тучные на добычу места, залегать там на сутки в засаде. Так что мужики с «Восходами» и карабинами были здесь всегда *при мясе*, а их фронтвые подружки или законные жены — спокойны за свое будущее, ровны и доброжелательны в общении и всегда готовы были заняться изготовлением бефстроганов ко дню рождения или гуляша к обеду...

Двадцать лет спустя месторождение рассекретили. И поселок, где два полевых сезона Бызов с Ципкиным выявляли на глубине в триста метров «рудное тело», появился на карте державы. По радио читали указ о присвоении высоких званий и вручении государственных наград за разведку такого важного для державы золоторудного месторождения людям, многих из которых Бызов с Ципкиным видели в вагончике администрации, а кое с кем даже здоровались за руку. И хотя Бызов с Ципкиным формально считались в данном великом деле рядовыми (разве что преисполненными всеобщего энтузиазма) винтиками, а потому являлись несущественными для государственной комиссии по присвоению или присуждению, оба они, по сути, были непосредственными, фактическими творцами этой очередной трудовой победы народа. Были, являлись, но ни в коротком списке удостоенных, ни в длинном просто отмеченных, себя не обнаружили. Ни в качестве примкнувшего Шепилова, ни в качестве неуловимого Кижэ.

Смена уже подходила к концу...

Насквозь промерзшие, как два ванильных пломбира, студенты добивали последнюю на сегодня рассечку и мысленно готовились к подъему. Уже полчаса Бызов, однако, не думал о сибирских пельменях со сливочным маслом и сметаной, как думалось ему всегда в конце работы. Он испытывал какое-то постороннее, непривычное ощущение, незаметно примешавшееся к привычному голоду-холоду. Здесь, под землей, сейчас что-то было не так. Что-то неуловимое, неопределимое, неосязаемое, но при этом вызывающее тревогу.

Но что?

Завершая измерения, Бызов лихорадочно размышлял о том, что именно могло вызвать у него беспокойство. Перебирал в голове детали окружающей обстановки, анализировал, сравнивал этот день с предыдущим. И вдруг понял — *что*.

Мертвая тишина!

Уже час как никто, ни один шахтер, не прошел мимо их рассечки, звонко смеясь над чем-то или же глухо матерясь. К тому же вдруг разом стихли все металлические звуки. А ведь они должны были звучать! Работы в штольне шли круглосуточно, и ничто не могло их оставить, кроме... кроме...

Тут Бызов замер: кроме *отпалки*.

И словно в подтверждение этого открытия где-то там, далеко, а может, и не очень, довольно отчетливо хлопнуло. Так, словно во время тихого часа в пионерском лагере один пионер ударил другого пионера подушкой по голове за доносительство. Не громче, но и не тише. Нет-нет, это совсем не походило на взрыв. Максимум — на падение поскользнувшегося толстяка. Но осторожный, подозрительный и в этот момент трусоватый Бызов на цыпочках (и почему именно на цыпочках?) направился к выходу из рассечки и там нацелил луч своей лампы туда, где, как показалось Бызову, один пионер и треснул другого по голове.

Метрах в пятидесяти, а возможно, и в двадцати (под землей расстояния всегда обманывали Бызова) он увидел... клубящуюся желто-оранжевую стену дыма, которая ползла, ползла, ползла к нему по штреку, по пути заполняя все углубления, пузырясь и потрескивая, как пена.

Открыв рот, Бызов закричал что-то бессмысленное (так кричат во сне, за мгновение до того, как счастливо проснуться), что-то такое, в чем было и абсолютное неверие в то, что он сейчас видит, и смертельное отчаяние от увиденного.

Рядом тут же возник пружинистый Ципкин. Оценив эту оранжевую, хищно ползущую на них, двух глупых мышат, змею, Ципкин, не проронив ни слова, побежал в противоположную от змеи сторону — к уклону, на ходу бросая аккумуляторные батареи, пульт и, главное, датчик с радиоактивным источником, что было не просто нарушением техники безопасности, но самым настоящим преступлением.

Только увидев стремительно удаляющуюся спину Ципкина, Бызов пришел в себя.

Но не поздновато ли?

Смертоносный дым уже цеплялся за хлястик его ватной куртки...

Красный, потный, с блестящим лицом и бегающими глазами диспетчер, уже жалеющий о том, что только что произошло между ним и этой Оксаной, искал повод избавиться от нее, чтобы двинуть домой, к семье, давно его ждущей. А то, не ровен час, жена явится сюда посмотреть, где работает ее благоверный. *Приступая* сегодня к нему, Оксана не спрашивала о семье, а он и рад был, что не спрашивала.

— Все, Оксана, давай... У меня тут еще много... я тут еще должен, — начал озабоченно диспетчер, обращаясь к глядящей на него исподлобья Оксане и тяжело поднимаясь со стула, на котором все, собственно, у них и *произошло*.

Диспетчер чувствовал себя потерянным и не находил себе места в диспетчерской. То, поначалу неистовое, фантастически сладкое, что он вкусил только что, быстро заменило горьковатое послевкусие, и вмиг вернувшийся к действительности диспетчер ощущал что-то вроде личной катастрофы.

Оксану же, напротив, всё, что только что произошло, до упругости наполнило свинцовой уверенностью в том, что этот парень теперь от нее никуда не денется, и ему уже завтра можно продиктовать свои первые пока маленькие требования.

Не зная, что еще сказать (а может, сделать), чувствуя роковое приближение жены (наверняка, сейчас распахнется дверь!), диспетчер принялся крутить головой по сторонам, словно ища того, кто его сейчас ужалил. Потом замер и, бледнея,

посмотрел себе за спину, чтобы удостовериться в том, что мелькнувшее там — плод воображения, не более. Посмотрел, и Оксана отметила про себя, что даже уши у этого мужика стали белыми, как у покойника.

За спинкой стула диспетчера в стеллаже для шахтерских ламп зияли пустотой две ячейки. Всего две из многих десятков. И, увы, не было уже никакого смысла шарить в надежде обнаружить там, в глубине, у самой стенки, недостающие лампы. Двух не хватало, и значит, что какие-то два горняка (не студенты ли?), по какой-то причине не покинувшие горную выработку до начала отпалки, доживали сейчас последние минуты на глубине триста метров, отравленные ядовитым дымом. Диспетчер лихорадочно вспоминал, сообщал ли сегодня взрывникам, в каких расщелках работают студенты. Вспоминал и никак не мог вспомнить. С этой Оксаной у него все мозги отбило!

Взглянув на Оксану с ужасом, нарастающим во взгляде, он прохрипел:

— Мне крышка... Я тут с тобой... студентов угробил! Пошла...

— Что? — не расслышала Оксана.

— Пошла вон!

Последнюю фразу диспетчер изверг со звериной силой, и Оксану как ветром сдуло.

Дрожащими руками закрывая дверь на щеколду, диспетчер не думал о жене, которая наверняка была уже где-то на подходе. Что теперь он мог ей сказать? Я виноват во всем, это мне наказание, уходи, меня больше нет?

Сейчас он размышлял о том, сколько ему дадут. Почему-то пришло на ум сказанное кем-то из коллег: прокурор за *такие дела* восемь лет требует, и судья меньше четырех не дает. Но если и четыре, считай, что ты — счастливчик... И уже чудилась диспетчеру камера предварительного заключения, и уже ехал он на суд в автозаке, и уже стучал на стыках вагон, везущий его отсюда подальше. (Хотя куда ж его отсюда, если здесь и так — дальше некуда?) И уже лезли к нему со своей «пропиской» лагерные авторитеты, и небо в клеточку было ему уже с овчинку...

Бежать. Он, конечно, подумал об этом. Но чтобы бежать отсюда, нужно готовиться не один день: провиант, теплые вещи, сухой спирт для розжига и мокрый для нутра, мотоцикл «Восход» с тремя двадцатилитровыми канистрами бензина, принайтованными позади мотоциклетного седла... И все равно не убежишь!

Диспетчер взвыл, и его взгляд уперся в плафон над головой (сам уперся, диспетчер его об этом не просил). «Выдержит ли?» — опять-таки против воли промелькнуло в голове, обдав диспетчера ледяным холодом. Потом его взгляд остановился на бухте электрического провода.

«Нет! — заартачилось что-то живое внутри диспетчера, — только не это! Отсижу! Другие-то сидят, а потом выходят. И ничего!»

В этот момент кто-то стал дергать ручку двери снаружи, пытаясь войти.

Диспетчер бросился к двери и прошептал:

— Уходи, Ириша, уходи.

Однако с той стороны заревели:

— Открывай, гад!

«Прокуроры! — вспыхнуло в мозгу диспетчера. — Уже?»

С той стороны кто-то ломился в помещение.

Еще раз в панике глянув на плафон над головой, потом скользнув взглядом по бухте провода, диспетчер засмеялся так, как смеются сумасшедшие в художественном

фильме, почему-то непременно округляя глаза, словно они и впрямь видят сейчас что-то такое, чего не видит ни один смертный. Засмеялся и откинул шею.

Двое взмысленных, раздетых до пояса проходчиков с шахтерскими касками в руках и ушанками под мышками ворвались в комнату; один, иронично поджав тонкие губы, второй — скрипя зубами от злости и негодования. И дежурного, словно взрывной волной, бросило на стул. «Студенты! Живы!»

— Ребята? — по-бабьи изрек диспетчер, и мгновение назад искаженное безумием лицо его разгладилось. Пытаясь взять себя в руки, чтобы не разрыдаться, обрывающимся голосом он изрек: — Давайте-ка сюда лампы. Что-то вы задержались.

Если сейчас они отдадут лампы, уже нельзя будет доказать его вину!

Если лампы в ячейках, а проходчики налицо, значит, ничего и не было. И никакой прокурор, никакой самый вездливый следователь никогда, ни за что...

— Не отгадим! — вдруг рявкнул тот, что скрипел зубами, непримиримый и почему-то обвешанный аппаратурой, которую можно было бы и оставить за дверью. — Ты нас чуть не угробил! — заорал он, срываясь на фальцет.

— Ну, зачем так громко, — опустил глаза диспетчер и вновь побледнел (да они, кажется, всё прекрасно понимают!). — Давайте, давайте, я тут из-за вас и так...

Что «и так» он, однако, не договорил: понял — бессмысленно. И силы покинули его. Он сидел на стуле и с жалкой улыбкой выслушивал обвинения гневного студента, который грозился посадить диспетчера в тюрьму за такое преступное отношение к живым людям, которые только чудом остались в живых.

О, как обличал этот парень! Заслушаешься! Ему бы выступать общественным обвинителем на *процессе Промпартии* или *врачей-отравителей*. Вот была бы слава народного трибуна.

А тот тем временем и не думал прекращать свою прокурорскую речь. Он уверял уже раздавленного вконец диспетчера, что отлично знает, как теперь с диспетчером поступят, и кричал, что ни за что не отдаст ему свою шахтерскую лампу. Да, не отдаст! И непременно предъявит ее инженеру гортехнадзора, который составит соответствующий акт, или начальнику экспедиции, орденоносцу и члену бюро обкома, который, конечно же, не потерпит такого преступного головоунытия, а то и лично в руки товарищу прокурору. И диспетчер тогда попляшет не хуже них, еле унесших ноги от смерти и при этом едва не надорвавших себе пупки. А все почему? А все потому, что у диспетчера в диспетчерской вместо исполнения должностных обязанностей шуры-муры...

В этот момент дверь распахнулась и кто-то молча застыл на пороге.

Диспетчер тут же встал, глядя за спины студентам и так щедро улыбаясь, словно дарил эту свою улыбку кому-то на прощанье.

Пошедший от возмущения красными пятнами обличитель повернулся, уже готовый предъявить свою шахтерскую лампу вошедшему товарищу прокурору.

Но это была Шамаханская царица. Все в том же белом платье.

С ее лица еще не успела сойти улыбка, вдруг в мельчайших подробностях осветившая это довольно темное дело гневному обличителю (конечно же, это был Бызов; Ципкин лишь посмеивался). Чуткая женщина уже почувствовала неладное. Посмотрев на Бызова так, что тому захотелось провалиться сквозь землю, она подошла к диспетчеру и так же, как вчера Бызова, схватила его за руку.

— Ириша, прости, — только и сказал ей диспетчер и сел на стул.

— Коля, Коленька, что с тобой? — с болью в голосе воскликнула она и обняла его голову и прижала ее к своему животу. — Что, что, родной? Я же вижу. Я же знаю...

И Коленька захлопал носом, словно только и ждал этой нежности, этих легких ладоней у себя на затылке, чтобы сбросить с себя тяжкие одежды греха, выдавить из души ужас, который едва не лишил его разума, который едва не убил его.

Ципкин взглянул на Бызова, подошел к столу, положил на него свою лампу прямо перед диспетчером, доверчиво уткнувшегося головой в живот женщине и жалующегося ей на что-то. Потом вновь скорчил гримасу, мол, да ну его, махнул рукой и вышел за дверь.

И Бызов сдулся.

Праведный гнев и жажда мщения оказались в нем пшиком, фикцией. А ведь сколько мер, сколько решительных шагов было им намечено для того, чтобы воздать, наказать или хотя бы прищучить нерадивого диспетчера...

Километра два, пока Бызов убежал от ядовитого дыма, который не отставал, но и не приближался, он даже не успел как следует испугаться. К тому же за время этого забега ему не пришло в голову избавиться от аппаратуры — всю ее, в целости и сохранности, он вынес на поверхность в трех километрах от поселка. Да, сначала он просто спасался, как Лот из Содома. Не оборачиваясь. Когда же понял, что дыму его не догнать (ведь дым в этой своей погоне обязан был, в соответствии с законами физики, заполнять попадавшие на пути штреки да рассечки, и потому время от времени отвлекался от своей погони), Бызов, выжатый как лимон, перешел на шаг и вознегодовал: во всем виноват диспетчер! Наверняка этот головотяп, увлеченный той нагловатой теткой, не сообщил взрывникам о студентах, работающих в одном из штреков. Понимал, наливался праведным гневом и вынашивал страшную месть. Но все карты ему спутала Шамаханская царица, в которую он со вчерашнего дня был, кажется, влюблен.

Оставив свою лампу на стуле возле двери, Бызов бесшумно покинул диспетчерскую.

На крыльце стоял мальчишка, ее сын. Увидев Бызова, мальчишка улыбнулся ему как родному, и шагнул вперед, явно ему доверяя. Даже *доверяясь* ему. Бызов покраснел от стыда и стремительно пошел прочь, думая: «Да как я такой?!»

Да как смел я давить этого Коленьку, отца малыша и мужа такой бесподобной женщины?! Да эта Ириша, оттолкнув стражу, с радостью взошла бы на эшафот вместо своего преступного Коленьки (берите меня вместо него!), да еще, положив голову на плаху, подбадривала бы своим любящим взглядом Бызова, взявшего в руки топор, но всё не решающегося отрубить ей голову...

«Какой-то Коленька из диспетчерской, а не принц из тридевятого царства. Нет, вы только подумайте!» — негодовал Бызов, чтобы как-то заглушить в себе чувство стыда.

И тут его окликнули.

— Эй, студент!

Он остановился, снял с плеча ремень прибора, поставил железный ящик перед собой и повернул голову: кажется, это была та самая вертихвостка, которую Бызов видел утром в диспетчерской.

— Значит, ты живой. А тот, второй? Что с ним? Все в порядке? — спросила она, идя к Бызову и с интересом его разглядывая.

Бызов хмуро кивнул.

— Вот видишь! А почему невеселый? — усмехнулась она. Бызов не ответил, почему. — Ну, хорошо. Как тебя зовут, юноша?

— Бызов, — буркнул Бызов и покраснел, а вертихвостка рассмеялась.

— А меня Оксаной кличут. Можешь Ксюшей звать. Ты в столовую? — последний

вопрос заставил Бызова поднять на Оксану глаза и тут же ощутить зверский голод. — Не спеши. Столовка уже закрыта. Все, что было, съели.

Бызов сокрушенно вздохнул, мол, вот так всегда. Уставившись на Бызова насмешливо, Оксана не сводила с него глаз: изучала, прикидывала, оценивала и при этом излучала что-то такое, от чего Бызову стало жарко, хотя из тундры уже тянуло вечерним холодом. Пауза затянулась. Не проронив ни слова, Бызов вновь водрузил ремень прибора на плечо, чтобы идти к себе в общежитие и там заморить червячка сушками с маком.

— Бызов, а пошли ко мне. Накормлю тебя обедом, — все с той же насмешливостью изрекла Оксана.

— А что на обед? — не смог сдержаться Бызов, смело глянув в глаза Оксане.

— Что, что... Пельмени со сливочным маслом и уксусом. Уж извини, сметану только в воскресенье забросят с материка.

И в глазах у Бызова полыхнуло зарево.

Вертолет рвал воздух в клочья, блестя на солнце лакированным брюхом, и жители поселка ручейками стекались к площади. Должен был прилететь прокурорский работник с подручными, чтобы забрать проходчика Мишу, который зарезал перочинным ножом буровика Витю. Оба крепко выпили, а потом повздорили на бытовой почве, и так получилось, что Миша хотел лишь попугать, но немного не рассчитал, хотя, и Витя мог вот так же — Мишу... «Просто так получилось, — пожимая плечами, говорил Мишин бригадир белому от злости Карабасу Барабасу, пока Мишу паковали местные дружинники. — А человек Миша добрый, и в бригаде на хорошем счету».

Помимо прокурора с помощниками, бидонов со сметаной, в поселок должны были доставить долгожданную почту. Тот самый мешок, что забыли неделю назад, и еще один — с новой корреспонденцией. В общем, сразу два мешка с письмами.

Однако Бызов не очень-то спешил сегодня к вертолету.

Шел вразвалку и думал, а что если почту и на этот раз не привезут? Однако что будет, если не привезут и на этот раз, он не додумал, поскольку остановился и, широко раскрыв рот, зевнул. «Не привезут и не привезут, тебе-то что!» — промелькнуло в его голове постороннее, за Бызова ответив на вопрос.

Ранним утром сегодня крадущийся по коридору барака Бызов столкнулся с крадущимся же Ципкиным. Ципкин опешил. Потом спросил:

— Твою как зовут?

— Оксана, — шепотом ответил Бызов.

— И мою Оксаной, — удивился Ципкин. — У них тут одни Оксаны, что ли? Ладно, пошли досыпать...

Вертолет уже висел над площадью, поднимая тучи пыли, задирая женщинам подолы, срывая с мужиков кепки, а с ближайших бараков — листы рубероида.

Бызов глянул на собравшуюся толпу (где-то там, в гуще, стояла она с сыном и своим Коленькой) и не стал дожидаться посадки вертолета. Отправился к себе в общежитие спать.

А как же письмо от Кати?

Ах да, письмо. Ну, письмо, если оно будет, принесут ему в общежитие. Никуда это письмо не денется...

Минут пять назад Бызов увидел ее и диспетчера, идущих к площади чуть впереди: Коленька нес на плечах мальчишку и что-то весело рассказывал ей, а она прижималась



к Коленьке плечом, будто в чем-то провинилась перед ним вчера, а он, такой добрый, сегодня утром ее простил. Счастью этой женщины не было предела. Так показалось Бызову. Ему не хотелось, чтобы она внезапно обернулась и увидела его, идущего следом, словно подглядывающего за ее счастьем и ищущим, как бы его украсть. Поэтому он и остановился возле барака. И не пошел дальше.

Все эти дни Бызов тщательно избегал встречи с нею. Однако то и дело встречал Коленьку то в коридоре Управления, то в продуктовой лавочке, и всегда одинаково холодно смотрел в глаза виновато улыбающемуся диспетчеру, всем своим видом говорящему Бызову: да брось ты дуться, парень, ну виноват я, виноват, с кем не бывает? Однако Бызов прожигал своим взглядом Коленьку совсем по другому поводу. Как этот диспетчер посмел променять свою бесподобную Иришу на какую-то Оксану из Кривого Рога? А вот посмел, променял.

И все-таки Бызов столкнулся с ней, одетой все в то же белое платье, в коридоре Управления. Вся она словно светилась изнутри. В ее глазах, широко раскрывшихся в тот момент, когда увидела Бызова, сияла кристальная чистота помыслов, а на лице была написана благодарность, одна только благодарность, правда, помноженная на миллион миллионов. И Бызов, склонив голову, поспешил малодушно проскользнуть мимо, не вступая в разговор, хотя ей — он это видел — хотелось поговорить. Она деликатно опустила глаза, пропуская Бызова мимо, и смутилась. Наверняка почувствовала себя виноватой в том, что Бызов ее теперь сторонится. Конечно, она уже знала о том, что Коленька наделал, и понимала, что эти студенты, по сути, спасли его от суда, отдав свои шахтерские лампы. И простой ее душе и чистому ее сердцу было необходимо выразить этим мальчикам свою благодарность. Хотя бы сказать что-то трогательное этому юноше, который не помнит зла, но у которого, конечно же, есть повод не любить ни ее саму, ни ее Коленьку.

Но почему Бызов смалодушничал? Почему прошел мимо?

Не оттого ли, что не мог вынести нестерпимый свет ее души, присутствие рядом той неприступной славы, которую носила в себе эта женщина? Нет, не зря теперь в ее присутствии Бызову хотелось спрятаться в нору, забиться в щель. А может, этот ее свет выставлял на всеобщее обозрение чернильное пятно греха, которое уже несколько дней лежало на душе Бызова, вдруг превратившее пылкого мальчика в расчетливого, знающего себе цену мужчину.

И этот мужчина теперь не понимал только одного: как Коленька до сих пор не ослеп от этого нестерпимого света, как не выгорел дотла от этой неприступной славы?! Как без страха и сомнений может смотреть этой женщине в глаза, обнимать ее и прижимать к себе, как смеет просить ее о чем-то, нет, требовать от нее чего-то и спокойно отвечать на ее вопросы, уничтожающие своей правдой любую ложь?!

Бызов бы не смог.

Не посмел бы.

Никогда.

Особенно теперь, когда жизнь его внезапно стала сытой, ленивой и ко многому вокруг безразличной. Устав удивлять, она вмиг остыла почти до нуля и тут же обросла диким мясом быта. И Бызов в ответ охладел к жизни, потерял к ее деталям и подробностям прежний горячий интерес.

Вместе с голодом Бызов утратил свою прежнюю легкость, заматерел и, кажется, стал, наконец, взрослым. И теперь письма от Кати были ему не нужны...